

В. Ф. Ходасевич

2-го ноября

Семь дней и семь ночей Москва металась
В огне, в бреду. Но грубый лекарь щедро
Пускал ей кровь — и, обессилив, к утру
Восьмого дня она очнулась. Люди
Повыползли из каменных подвалов
На улицы. Так, переждав ненастье,
На задний двор, к широкой луже, крысы
Опасливой выходят вереницей
И прочь бегут, когда вблизи на камень
Последняя спадает с крыши капля...
К полудню стали собираться кучки.
Глазели на пробоины в домах,
На сбитые верхушки башен; молча
Толпились у дымящихся развалин
И на стенах следы скользнувших пуль
Считали. Длинные хвосты тянулись
У лавок. Проволок обрывки висли
Над улицами. Битое стекло
Хрустело под ногами. Желтым оком
Ноябрьское негреющее солнце
Смотрело вниз, на постаревших женщин
И на мужчин небритых. И не кровью,
Но горькой желчью пахло это утро.
А между тем уж из конца в конец,
От Пресненской заставы до Рогожской
И с Балчуга в Лефортово, брели,
Теснясь на тротуарах, люди. Шли проведать
Родных, знакомых, близких: живы ль, нет ли?
Иные узелки несли под мышкой
С убогой снедью: так в былые годы
На кладбище москвич благочестивый
Ходил на Пасхе — красное яичко
Съесть на могиле брата или кума...

К моим друзьям в тот день пошел и я.
Узнал, что живы, целы, дети дома, —
Чего ж еще хотеть? Побрел домой.
По переулкам ветер, гость залетный,
Гонял сухую пыль, окурки, стружки.
Домов за пять от дома моего,
Сквозь мутное окошко, по привычке
Я заглянул в подвал, где мой знакомый
Живет столяр. Необычным делом
Он занят был. На верстаке, вверх дном,
Лежал продолговатый, узкий ящик
С покатыми боками. Толстой кистью

Водил столяр по ящику, и доски
 Под кистью багровели. Мой приятель
 Заканчивал работу: красный гроб.
 Я постучал в окно. Он обернулся.
 И, шляпу сняв, я поклонился низко
 Петру Иванычу, его работе, гробу,
 И всей земле, и небу, что в стекле
 Лазурью отражалось. И столяр
 Мне тоже покивал, пожал плечами
 И указал на гроб. И я ушел.

А на дворе у нас, вокруг корзины
 С плетеной дверцей, суетились дети,
 Крича, толкаясь и тесня друг друга.
 Сквозь редкие, поломанные прутья
 Виднелись перья белые. Но вот —
 Протяжно заскрипев, открылась дверца,
 И пара голубей, плеща крылами,
 Взвилась и закружилась: выше, выше,
 Над тихой Плющихой, над рекой...
 То падая, то подымаясь, птицы
 Ныряли, точно белые ладьи
 В дали морской. Вослед им дети
 Свистали, хлопали в ладоши... Лишь один,
 Лет четырех бутуз, в ушастой шапке,
 Присел на камень, растопырил руки,
 И вверх смотрел, и тихо улыбался.
 Но, заглянув ему в глаза, я понял,
 Что улыбается он самому себе,
 Той непостижной мысли, что родится
 Под выпуклым, еще безбровым лбом,
 И слушает в себе биенье сердца,
 Движенье соков, рост... Среди Москвы,
 Страдающей, растерзанной и падшей, —
 Как идол маленький, сидел он, равнодушный,
 С бессмысленной, священной улыбкой.
 И мальчику я поклонился тоже.

Дома

Я выпил чаю, разобрал бумаги,
 Что на столе скопились за неделю,
 И сел работать. Но, впервые в жизни,
 Ни «Моцарт и Сальери», ни «Цыганы»
 В тот день моей не утолили жажды.

1918